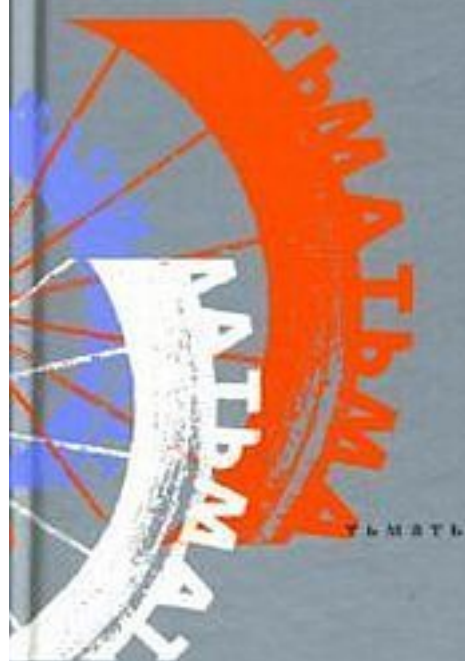


а в
андрей озансесенский



Андрей Вознесенский

Тьма

«WebKniga»

Вознесенский А. А.

Тьмать / А. А. Вознесенский — «WebKniga»,

В новую книгу «Тьмать» вошли произведения мэтра и новатора поэзии, созданные им за более чем полувековое творчество: от первых самых известных стихов, звучавших у памятника Маяковскому, до поэм, написанных совсем недавно. Отдельные из них впервые публикуются в этом поэтическом сборнике. В книге также представлены знаменитые видеомы мастера. По словам самого А.А.Вознесенского, это его «лучшая книга».

Содержание

ПЛАВКИ БОГА	5
ТИШИНЫ ХОЧУ!	44
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Андрей Вознесенский

Тьмать

ПЛАВКИ БОГА

Пятидесятые

* * *

Памяти Б. и С.

Эх, Россия!
Эх, размах...
Пахнет псиной
в небесах.

Мимо Марсов, Днепрогэсов,
мачт, антенн, фабричных труб
страшным символом
прогресса
носится собачий труп.

1959

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Над Академией,
осатанев,
грехопадением
падает снег.

Парками, скверами
счастье взвилось.
Мы были первыми.
С нас началось —

рифмы, молитвы,
свист пулевой,
прыганья в лифты
вниз головой!

Сани, погони,
искры из глаз.
Все — эпигоны,
все после нас...

С неба тяжёлого,
сном, чудодейством,
снегом на голову
валится детство,

свалкою, волей,
шапкой с ушами,
шалостью, школой,
непослушаньем.

Здесь мы встречаемся.
Мы однолетки.
Мы задыхаемся
в лестничной клетке.

Автомобилями
мчатся недели.
К чёрту фамилии!
Осточертели!

Разве Монтекки
и Капулетти
локоны, веки,
лепеты эти?

Тысячеустым
четверостишием
чище искусства,
чуда почище.

1950-е

ОСЕННИЙ ВОСКРЕСНИК

Кружатся опилки,
груши и лимоны.
Прямо
на затылки
падают балконы!

Мимо этой сутолоки,
ветра, листопада
мчатся на полуторке
ведра и лопаты.

Над головоломной
ка —

та —
строфой
мы летим в Коломну
убирать картофель.

Замотаем платица,
брючины засучим.
Всадим заступ в задницы
пахотам и кручам!

1953

КОЛЕСО СМЕХА

Летят носы клубникой,
подолы и трико.
А в центре столб клубится —
ого-го!

Смеху сколько —
скользко!

Девчонки и мальчишки
слетают в снег, визжа,
как с колеса точильщика
иль с веловиража.

Не так ли жизнь заносит
товарищей иных,
им задницы занозит
и скидывает их?

Как мне нужна в поэзии
святая простота,
но мчит меня по лезвию
куда-то не туда.

Обледенели доски.
Лечу под хохот толп,
а в центре, как Твардовский,
стоит дубовый столб.

Слетаю метеором
под хохот и галдёж...
Умора!
Ой, умрёшь.

1953

* * *

Меня пугают формализмом.

Как вы от жизни далеки,
пропахнувшие формалином
и фимиамом знатоки!
В вас, может, есть и целина,
но нет жемчужного зерна.
Искусство мертвенно без искры,

не столько Божьей, как людской,
чтоб слушали бульдозеристы
непроходимую тайгой.

Им приходилось зло и солоно,
но чтоб стояли, как сейчас,

они – небритые, как солнце,
и точно сосны – шелушась.

И чтобы девочка-чувашка,
смахнувши синюю слезу,
смахнувши – чисто и чумазо,
смахнувши – точно стрекозу,
в ладони хлопала раскатисто...

Мне ради этого легки
любых ругателей рогатины
и яростные ярлыки.

1953

ГОРНЫЙ РОДНИЧОК

Стучат каблучонки
как будто копытца
девчонка к колонке
сбегает напиться

и талия блещет
увёртливей змейки
и юбочка плещет
как брызги из лейки

хохочет девчонка

и голову мочит
журчащая чёлка
с водою лопочет
две чудных речонки

к кому кто приник?
и кто тут
девчонка?
и кто тут родник?

1955

* * *

Не надо околичностей,
не надо чушь молоть.
Мы – дети культа личности,
мы кровь его и плоть.
Мы выросли в тумане,
двусмысленном весьма,
среди гигантомании
и скудости ума.
Отцам за Иссык-Кули,
за домны, за пески
не орденами – пулями
сверлили пиджаки.
И серые медали
довесочков свинца,
как пломбы, повисали
на души, на сердца.
Мы не подозревали,
какая шла игра.
Деревни вымирали.
Чернели вечера.
И огненной подковой
горели на заре
венки колючих проволок
над лбами лагерей.
Мы люди, по распутью
ведомые гуськом,
продутые, как прутья,
сентябрьским сквозняком.
Мы – сброшенные листья,
мы музыка оков.
Мы мужество амнистий
и сорванных замков.
Распахнутые двери,
сметённые посты.

И ярость новой ереси,
и яркость правоты.

1956

ДАЧА ДЕТСТВА

Интерьеры скособочены
в оплеухах снежных масс.
В интерьерах блеск пощёчин —
раз-раз!

За проказы, неприличности
и бесстыжие глаза,
за расстёгнутые лифчики —
за-за!

Дым шатает половицы,
искры сыплются из глаз.
Этак дача подпалится —
раз-раз!

Поцелуи и пощёчины,
море солнца, птичий гвалт, —
задыхаемся, хохочем —
март!

1950-е

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ

Пляска затылков,
блузок, грудей —
это в Бутырках
бреют блядей.

Амбивалентно
добро и зло —
может, и Лермонтова
наголо?

Пей вверхтормашками,
влей депрессант,
чтоб нового «Сашку»
не смог написать...

Волос — под ноль.

Воля – под ноль.
Больше не выйдешь
под выходной!

Смех беспокоен,
снег бестолков.
Под «Метрополем»
дробь каблучков.

Точно косули,
зябко стоят.
Вешних сосуллек
грешный отряд.

Фары по роже
хлещут, как жгут.
Их в Запорожье
матери ждут.

Их за бутылками
не разглядишь.
Бреют в Бутырках
бедных блядищ.

Эх, бедовая
судьба девчачья!
Снявши голову,
по волосам не плачут.

1956

В. Б.

Нет у поэтов отчества.
Творчество – это отрочество.

Ходит он – синеокий,
гусельки на весу,
очи его – как окуни
или окно в весну.

Он неожидан, как фишка.
Ветренен, точно март...
Нет у поэта финиша.
Творчество – это старт.

1957

ПЕРВЫЙ ЛЁД

Мёрзнет девочка в автомате,
прячет в зябкое пальтецо
всё в слезах и губной помаде
перемазанное лицо.

Дышит в худенькие ладошки.
Пальцы – льдышки. В ушах – серёжки.

Ей обратно одной, одной
вдоль по улочке ледяной.

Первый лёд. Это в первый раз.
Первый лёд телефонных фраз.

Мёрзлый след на щеках блестит —
первый лёд от людских обид.

Поскользнёшься, ведь в первый раз.
Бьёт по радио поздний час.

Эх, раз,
ещё раз,
ещё много, много раз.

1956

СВАДЬБА

Где пьют, там и бьют —
чашки, кружки об пол бьют,
горшки – в черепки,
молодым под каблуки.
Брызжут чашки на куски:
чьё-то счастье —
в черепки!

И ты в прозрачной юбочке,
юна, бела,
дрожишь, как будто рюмочка
на краешке стола.

Горько! Горько!
Нелёгкая игра.
За что? За горку

с набором серебра?
Где пьют, там и льют —
слёзы, слёзы, слёзы льют...

1956

ТОРГУЮТ АРБУЗАМИ

Москва завалена арбузами.
Пахнуло волей без границ.
И веет силой необузданной
от возбуждённых продавщиц.

Палатки. Гвалт. Платки девчат.
Хохочут. Сдачею стучат.
Ножи и вырезок тузы.
«Держи, хозяин, не тужи!»

Кому кавун? Сейчас расколется!
И так же сочны и вкусны:
милиционерские околыши
и мотороллер у стены.

И так же весело и свойски,
как те арбузы у ворот,
земля мотается
в авоське
меридианов и широт!

1956

ПОЖАР В АРХИТЕКТУРНОМ ИНСТИТУТЕ

Пожар в Архитектурном!
По залам, чертежам,
амнистией по тюрьмам —
пожар, пожар!

По сонному фасаду
бесстыже, озорно,
гориллой краснозадой
взвывается окно!

А мы уже дипломники,
нам защищать пора.
Трещат в шкафу под пломбами
мои выговора!

Ватман – как подраненный,
красный листопад.
Горят мои подрамники,
города горят.

Бутылью керосиновой
взвилось пять лет и зим...
Кариночка Красильникова,
ой! Горим!

Прощай, архитектура!
Пылайте широко,
коровники в амурах,
райклубы в рококо!

О юность, феникс, дурочка,
весь в пламени диплом!
Ты машешь красной юбочкой
и дразнишь язычком.

Прощай, пора окраин!
Жизнь – смена пепелищ.
Мы все перегораем.
Живёшь – горишь.

А завтра, в палец чиркнувши,
вонзится злей пчелы
иглочка от циркуля
из горсточки золы...

...Всё выгорело начисто.
Милиции полно.
Всё – кончено!
Всё – начато!
Айда в кино!

1957

ПЕСНЯ ОФЕЛИИ

Мои дела —
как сажа бела,
была черноброва, светла была,
да всё добро своё раздала,

миру по нитке – голая станешь,
ивой поникнешь, горкой растаешь,

мой Гамлет приходит с угарным дыханьем,
пропахший бензином, чужими духами,
как свечки, бокалы стоят вдоль стола,

идут дела
и рвут удила,
уж лучше б на площадь в чём мать родила,

не крошка с Манежной, не мужу жена,
а жизнь, как монетка,
на решку легла,

искала —
орла,
да вот не нашла...

Мои дела —
как зола — дотла.

1957

МАСТЕРСКИЕ НА ТРУБНОЙ

Дом на Трубной.
В нём дипломники басят.
Окна бубной
жгут заснеженный фасад.
Дому трудно.

Раньше он соцреализма не видал
в безыдейном заведении у мадам.

В нём мы чертим клубы, домны,
но бывало,
стены фрескою огромной
сотрясало,

шла империя вприпляс
под венгерку,
«феи» реяли меж нас
фейерверком!

Мы небриты, как шинель.
Мы шалели,
отбиваясь от мамзель,
от шанели,

но упорны и умны,

сжавши зубы,
проектировали мы
домны, клубы...

Ах, куда вспорхнём с твоих
авиаматок,
Дом на Трубной, наш Парнас,
alma mater?

Я взираю, онемев,
на лекало —
мне районный монумент
кажет
ноженьку
лукаво!

1957

РУССКИЕ ПОЭТЫ

Не пуля, так сплетня
их в гроб уложила,
не с песней, а с петлей
их горло дружило.

И пули свистали,
как в дыры кларнетов,
в пробитые головы
лучших поэтов.

Их свищут метели.
Их пленумы судят.
Но есть Прометеи.
И пленных не будет.

Несётся в поверья
верстак под Москвой.
А я подмастерье
в его мастерской.

Свищу, как попало,
и так и сяк.
Лиха беда начало.
Велик верстак.

1957

ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

Борька – Любку, Чубук – двух Мил,
а он учительку полюбил!

Елена Сергеевна, ах, она...
(Ленка по уши влюблена!)

Елена Сергеевна входит в класс.
(«Милый!» – Ленка кричит из глаз.)

Елена Сергеевна ведёт урок.
(Ленка, вспыхнув, крошит мелок.)

Понимая, не понимая,
точно в церкви или в кино,
мы взирали, как над пеналами
шло таинственное
о н о...

И стоит она возле окон —
чернокожая, синекожая,
закусивши свой красный рот,
белый табель его берёт!

Что им делать, таким двоим?
Мы не ведаем, что творим.
Педсоветы сидят:
«Учтите,
вы советский никак учитель!

На Смоленской вас вместе видели...»
Как возмездье грядут родители.
Ленка-хищница, Ленка-мразь,
ты ребёнка втоптала в грязь!

«О, спасибо, моя учительница,
за твою высоту лучистую,
как сквозь первый ночной снежок
я затверживал твой урок,

и сейчас, как звон выручалочки,
из жемчужных уплывших стран
окликает меня англичаночка:
«Проспишь алгебру,
мальчуган...»

Ленка, милая, Ленка – где?
Ленка где-то в Алма-Ате.
Ленку сшибли, как птицу влёт...

Елена Сергеевна водку пьёт.

1958

* * *

Б. А.

Дали девочке искру.
Не ириску, а искру,
искру поиска, искру риска.
искру дерзости олимпийской!
Можно сердце зажечь, можно – печь,
можно
землю
к чертям
поджечь!

В папироске сгорает искорка.
И девчонка смеётся искоса.

1958

* * *

У речки-игруньи
у горной глазури
берёзы
в Ингури
берёзы
в Ингури
как портики храма
колонками в ряд
прозрачно и прямо
берёзы стоят

как после разлуки
я в рощу вхожу
раскидываю руки
и до ночи
лежу

сумерки сгущаются
надо мной

белы
качаются смещаются
прозрачные стволы

вот так светло и прямо
по трассе круговой
стоят
прожекторами
салюты над Москвой

1958

НЕМЫЕ В МАГАЗИНЕ

Д. Н. Журавлёву

Немых обсчитали.
Немые вопили.
Медяшек медали
влипали в опилки.

И гневным протестом,
что всё это сказки,
кассирша, как тесто,
вздымалась из кассы.

И сразу по залам,
по курам зелёным,
пахнуло слезами,
как будто озоном.

О, слёз этих запах
в мычащей ораве!..
Два были без шапок.
Их руки орали.

А третий, с беконом,
подобием мата
ревел, как Бетховен,
земно и лохмато.

В стекло барабана,
ладони ломая,
орала судьба моя
глухонемая!

Кассирша, осклабясь,
косилась на солнце
и ленинский абрис

искала в полсотне.

Но не было Ленина.
Всё было фальшью...
Была бакалея.
В ней люди и фарши.

1958

* * *

Сидишь беременная, бледная.
Как ты переменилась, бедная.

Сидишь, одёргиваешь платице,
и плачется тебе, и плачется...

За что нас только бабы балуют,
и губы, падая, дают,

и выбегают за шлагбаумы,
и от вагонов отстают?

Как ты бежала за вагонами,
глядела в полосы оконные...

Стучат почтовые, курьерские,
хабаровские, люберецкие...

И от Москвы до Ашхабада,
остолбёнев до немоты,

стоят, как каменные, бабы,
луне подставив животы.

И, поворачиваясь к свету,
в ночном быту необжитом —

как понимает их планета
своим огромным животом.

1958

ТАЙГОЙ

Твои зубы смелы
в них усмешка ножа

и гудят как шмели
золотые глаза!

Мы бредём от избушки
нам трава до ушей
ты пророчишь мне взбучку
от родных и друзей

ты отнюдь не монахиня
хоть в округе – скиты
бродят пчёлы мохнатые
нагибая цветы

на ромашках роса
как в буддийских пиалах
как она хороша
в длинных мочках фиалок

В каждой капельке-мочке
отражаясь мигая
ты дрожишь как Дюймовочка
только кверху ногами

ты – живая вода
на губах на листке
ты себя раздала
всю до капли – тайге.

1958

СИБИРСКИЕ БАНИ

Бани! Бани! Двери – хлоп!
Бабы прыгают в сугроб.

Прямо с пыли, прямо с жару —
ну и ну!
Слабовато Ренуару
до таких сибирских «ню»!

Что мадонны! Эти плечи,
эти спины наповал —
будто доменную печью
запрокинутый металл.

Задыхаясь от разбега,
здесь на ты, на ты, на ты
чистота огня и снега

с чистотою наготы.

День морозный, чистый, парный.
Мы стоим, четыре парня,
в полушубках, кровь с огнём, —
как их шуткой
шуганём!

Ой, испугу!
Ой, в избушку
как из пушки, во весь дух:
— Ух!..

А одна в дверях задержится,
за приступочку подержится
и в соседа со смешком
кинет
кругленьким снежком!

1958

ТУЛЯ

Кругом тут и туя.
А что такое — Туля?

То ли турчанка —
тонкая талия?

То ли речонка —
горная,
талая?

То ли свистулька?
То ли козуля?
Т у л я!

Я ехал по Грузии,
грушевой, вешней,
среди водопадов
и белых черешней.

Чинары, чонгури,
цветущие персики
о маленькой Туле
свистали мне песенки.

Мы с ней не встречались.

И всё, что успели,
столкнулись – расстались
на Руставели...

Но свищут пичуги
в московском июле:
«Туйт —
ту-ту —
туля!
Туля! Туля!

1958

* * *

По Суздалю, по Суздалю
сосулек, смальт —
авоською с посудой
несётся март.

И колокол над рынком
мotaется серьгой.
Колхозницы – как крынки
в машине грузовой.

Я в городе бидонном,
морозном, молодом.
«Америку догоним
по мясу с молоком!»

Я счастлив, что я русский,
так вижу, так живу.
Я воздух, как краюшку
морозную, жую.

Весна над рыжей кручей,
взяв снеговой рубеж,
весна играет крупом
и ржёт, как жеребец.

А ржёт она над критикой
из толстого журнала,
что видит во мне скрытое
посконное начало.

1958

ТБИЛИССКИЕ БАЗАРЫ

*...носы на солнце лунятся,
как живопись на фресках.*

Долой Рафаэля!
Да здравствует Рубенс!
Фонтаны фореи,
цветастая грубость!

Здесь праздники в будни,
арбы и арбузы.
Торговки – как бубны,
в браслетах и бусах.

Индиго индеек.
Вино и хурма.
Ты нынче без денег?
Пей задарма!

Да здравствуют бабы,
торговки салатом,
под стать баобадам
в четыре обхвата!

Базары – пожары.
Здесь огненно, молодо
пылают загаром
не руки, а золото.

В них отблески масел
и вин золотых.
Да здравствует мастер,
что выпишет их!

1958

ОДА СПЛЕТНИКАМ

Я сплавлю скважины замочные.
Клевещущему – исполать.
Все репутации подмочены.
Треши,
трёхспальная кровать!

У, сплетники! У, их рассказы!
Люблю их царственные рты,

их уши,
точно унитазы,
непогрешимы и чисты.

И версии урчат отчаянно
в лабораториях ушей,
что кот на даче у Ошанина
сожрал соседских голубей,
что гражданина А. в редиске
накрыли с балериной Б...

Я жил тогда в Новосибирске
в блистанье сплетен о тебе.
Как пулемёты, телефоны
меня косили наповал.
И точно тенор – анемоны,
я анонимки получал.

Междугородные звонили.
Их голос, пахнувший ванилью,
шептал, что ты опять дуришь,
что твой поклонник толст и рыж,
что таешь, таешь льдышкой тонкой
в пожатье пышущих ручищ...

Я возвращался.
На Волхонке
лежали чёрные ручьи.

И всё оказывалось шуткой,
насквозь придуманной виной,
и ты запахивала шубку
и пахла снегом и весной.

Так ложь становится гарантией
твоей любви, твоей тоски...

Орите, милые, горланьте!..
Да здравствуют клеветники!

Смакуйте! Дёргайтесь от тика!
Но почему так страшно тихо?

Тебя не судят, не винят,
и телефоны не звонят...

1958

БАЛЛАДА ТОЧКИ

«Баллада? О точке?! О смертной пилюле?!»

Балда!

Вы забыли о пушкинской пуле!

Что ветры свистали, как в дыры кларнетов,
в пробитые головы лучших поэтов.

Стрелую пронзив самодурство и свинство,
к потомкам неслась траектория свиста!
И не было точки. А было – начало.

Мы в землю уходим, как в двери вокзала.
И точка тоннеля, как дуло, черна...
В бессмертье она?
Иль в безвестность она?...

Нет смерти. Нет точки. Есть путь пулевой —
вторая проекция той же прямой.

В природе по смете отсутствует точка.
Мы будем бессмертны. И это – точно!

1958

БАЛЛАДА РАБОТЫ

Е. Евтушенко

Пётр
Первый —
пот
первый...
не царский (от шубы,
от баньки с музыкой) —
а радостный,
грубый,
мужицкий!

От плотской забавы
гудела спина,
от плотницкой бабы,
пилы, колуна.

Аж в дуги сгибались
дубы топорищ!

Аж щепки вонзались
в Стамбул и Париж!

А он только крякал,
упруг и упрям,
расставивши краги,
как башенный кран.

А где-то в Гааге
духовный буян,
бродяга отпетый,
и нос точно клубень —
Петер?
Рубенс?!

А может, не Петер?
А может, не Рубенс?
Но жил среди петель
рубинов и рубищ,
где в страшных пучинах
восстаний и путчей
неслись капуцины,
как бочки с капустой.

Его обнажённые идеалы
бугрились, как стёганные одеяла.

Дух жил в стройном гранде,
как бургер
обрюзгший,
и брюхо моталось
мохнатою
брюквой.

Женившись на внучке,
свихнувшись отчасти,
он уши топорщил,
как ручки от чашки.

Дымясь волосами, как будто над чаном,
он думал.
И всё это было началом,
началом, рожающим Савских и Саский...

Бьёт пот —
олимпийский,
торжественный,
царский!
Бьёт пот

(чтобы стать жемчугами Вирсавии).
Бьёт пот
(чтоб сверкать сквозь фонтаны Версаля).
Бьёт пот,
превращающий на века
художника – в бога, царя – в мужика!

Вас эта высокая влага кропила,
чело целовала и жгла, как крапива.
Вы были как боги – рабы ремесла!..

В прилипшей ковбойке
стою у стола.

1958

* * *

Друг, не пой мне песню про Сталина.
Эта песенка непростая.
Непроста усов седина.
То хрустальна, а то мутна.

Как плотина, усы блистали,
как присяга иным векам.
Партизаночка шла босая
к их сиянию по снегам.

Кто в них верил? И кто в них сгинул,
как иголка в седой копне?
Их разглаживали при гимне.
Их мочили в красном вине.

И торжественно над страной,
словно птица страшной красы,
плыли с красною бахромою
государственные усы...

Друг, не пой мне песню про Сталина.
Ты у гроба его не простаивал,
проводя – аж губы в кроввь —
роковую свою любовь.

1958

* * *

Кто мы – фишки или великие?
Гениальность в крови планеты.
Нету «физиков», нету «лириков» —
лилипуты или поэты!

Независимо от работы
нам, как оспа, привился век.
Ошарашивающее – «Кто ты?»
нас заносит, как велотрек.

Кто ты? Кто ты? А вдруг – не то?...
Как Венеру шерстит пальто!
Кукарекать стремятся скворки,
архитекторы – в стихотворцы!

Ну а ты?...
Уж который месяц —
В звёзды метишь, дороги месишь...
Школу кончила, косы сбросила,
побыла продавщицей – бросила.

И опять, и опять, как в салочки,
меж столешниковых афиш,
несмышлёныш,
олешка,
самочка,
запыхавшаяся стоишь!..

Кто ты? Кто?! – Ты глядишь с тоскою
в книги, в окна – но где ты там? —
Припадаешь, как к телескопам,
к неподвижным мужским зрачкам...

Я брожу с тобой, Верка, Вега...
Я и сам посреди лавин,
вроде снежного человека,
абсолютно неуловим.

1958

ВЕЧЕРИНКА

Подгулявшей гурьбою
все расселись. И вдруг —
где
двое?!
Нет
двух!

Может, ветром их сдуло?
Посреди кутежа
два пустующих стула,
два лежащих ножа.

Они только что пили
из бокалов своих.
Были —
сплыли.
Их нет, двоих.

Водою талою —
ищи-свищи!
Сбежали, бросив к дьяволу
приличья и плащи!

Сбежали, как сбегает
с фужеров гуд.
Так реки берегами,
так облака бегут.

Так убегает молодость
из-под опеки,
и так весною поросли
пускаются в побег!

В разгаре вечеринка,
но смелость этих двух
закинутыми спинками
захватывает дух!

1959

ЁЛКА

За окном кариатиды,
а в квартирах — каблуки...
Ёлок
крылья
реактивные
прошибают потолки!
Что за чуда нам пророчатся?
Какая из шарад
в этой хвойной непорочности,
в этих огненных шарах?!
Ах, девочка с мандолиной!
Одуряя и жуя,

полыхает мандарином
рыжей чёлки кожура!
Расшалилась, точно школьница,
иглочки грызёт...
Что хочется,
чем колется
ей следующий год?
Века, бокалы, луны...
«Туши! Туши!»
Любовь всегда —
кануны.
В ней —
Новый год
души.
а ёлочное буйство,
как женщина впотьмах, —
вся в будущем,
как в бусах,
и иглы на губах!

1959

ГОЙЯ

Я – Гойя!
Глазницы воронок мне выклевал ворон,
слетая на поле нагое.
Я – Горе.

Я – голос
войны, городов головни
на снегу сорок первого года.
Я – Голод.
Я – горло
повешенной бабы, чьё тело, как колокол,
било над площадью голой...
Я – Гойя!

О, грозди
возмездья! Взвил залпом на Запад —
я пепел незваного гостя!
И в мемориальное небо вбил крепкие звёзды —
как гвозди.

Я – Гойя.

1959

ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ БАЛЛАДА

Судьба, как ракета, летит по параболе
обычно – во мраке, и реже – по радуге.
Жил огненно-рыжий художник Гоген,
богема, а в прошлом – торговый агент.
Чтоб в Лувр королевский попасть из Монмартра,
он дал кругалю через Яву с Суматрой!

Унёсся, забыв сумасшествие денег,
кудахтанье жён и дерьмо академий.
Он преодолел тяготенье земное.

Жрецы гоготали за кружкой пивною:
«Прямая – короче, парабола – круче,
не лучше ль скопировать райские кущи?»

А он уносился ракетой ревушей
сквозь ветер, срывающий фалды и уши.
И в Лувр он попал не сквозь главный порог —
параболой гневно пробив потолок!

Идут к своим правдам, по-разному храбро,
червяк – через щель, человек – по параболе.

Жила-была девочка рядом в квартале.
Мы с нею учились, зачёты сдавали.
Куда ж я уехал! И чёрт меня нёс
меж грузных тбилисских двусмысленных звёзд!

Прости мне дурацкую эту параболу.
Простывшие плечики в чёрном парадном...
О, как ты звенела во мраке Вселенной
упруго и прямо – как прутик антенны!
А я всё лечу, приземляясь по ним —
земным и озябшим твоим позывным.
Как трудно даётся нам эта парабола!..

Сметая каноны, прогнозы, параграфы,
несутся искусство, любовь и история —
по параболической траектории!

В Сибирь уезжает он нынешней ночью.
....
А может быть, всё же прямая – короче?

1959

МАСТЕРА

Поэма

ПЕРВОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

Колокола, гудошники...
Звон. Звон...

Вам,
художники
всех времён!

Вам,
Микеланджело,
Барма, Дант!
Вас молниёю заживо
испепелял талант.

Ваш молот не колонны
и статуи тесал —
сбивал со лбов короны
и троны сотрясал.

Художник первородный —
всегда трибун.
В нём дух переворота
и вечно — бунт.

Вас в стены муровали.
Сжигали на кострах.
Монахи муравьями
плясали на костях.

Искусство воскресало
из казней и из пыток
и било, как кресало,
о камни Моабитов.

Кровавые мозоли.
Зола и пот.
И Музу, точно Зою,
вели на эшафот.

Но нет противоядия
её святым словам —
воители,
ваятели,
слава вам!

ВТОРОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

Москва бурлит, как варево,
под колокольный звон...

Вам,
варвары
всех времён!

Цари, тираны,
в тиарах яйцевидных,
в пожарищах-сутанах
и с жерлами цилиндров!

Империи и кассы
страхуя от огня,
вы видели в Пегасе
троянского коня.

Ваш враг – резец и кельма.
И выжженные очи,
как
клейма,
горели среди ночи.

Вас моё слово судит.
Да будет – срам,
да
будет
проклятье вам!

I

Жил-был царь.
У царя был двор.
На дворе был кол.
На колу не мочало —
человека мотало!

Хвор царь, хром царь,
а у самых хором ходит вор и бунтарь.
Не туга мошна,
да рука мощна!
Он деревни мутит.
Он царевне свистит.

И ударил жезлом
и велел государь,
чтоб на площади главной
из цветных терракот
храм стоял семиглавый —
семиглавый дракон.

Чтоб царя сторожил.
Чтоб народ страшил.

II

Их было смелых – семеро,
их было сильных – семеро,
наверно, с моря синего
или откуда с севера,

где Ладога, луга,
где радуга-дуга.

Они ложили кладку
вдоль белых берегов,
чтобы взвились, точно радуга,
семь разных городов.

Как флаги корабельные,
как песни корабейные.

Один – червонный, башенный,
разбойный, бесшабашный.
Другой – чтобы, как девица,
был белогруд, высок.
А третий – точно деревце,
зелёный городок!

Узорные, кирпичные,
цветите по холмам...
Их привели опричники,
чтобы построить храм.

III

Кудри – стружки,
руки – на рубанки.
Яростные, русские,
красные рубахи.

Очи – ой, отчаянны!
При подобной силе —
как бы вы нечаянно
царство не спалили!..

Бросьте, дети бисовы,
кельмы и резцы.
Не мечите бисером
изразцы.

IV

Не памяти юродивой
вы возводили храм,
а богу плодородия,
его земных дарам.

Здесь купола – кокосы,
и тыквы – купола.
И бирюза кокошников
окошки оплела.

Сквозь кожуру мишурную
глядело с завитков,
что чудилось Мичурину
шестнадцатых веков.

Диковины кочанные,
их буйные листы,
кочевников колчаны
и кочетов хвосты.

И башенки буравами
взвивались по бокам,
и купола булавами
грозили облакам!

И москвичи молились

столь дерзкому труду —
арбузу и маису
в чудовищном саду.

V

Взглянув на главы-шлемы,
боярин рёк:
– У, шельмы,
в бараний рог!
Сплошные перламутры —
сойдёшь с ума.
Уж больно баламутны
их сурик и сурьма.
Купец галантный,
куль голландский,
шипел: – Ишь, надругательство,
хула и украшательство.
Нашёл уж царь работников —
смутьянов и разбойничков!
У них не кисти,
а кистени.
Семь городов, антихристы,
задумали они.
Им наша жизнь – кабальная,
им Русь – не мать!

...А младший у кабатчика
всё похвалялся, тать,
как в ночь перед заутреней,
охальник и бахвал,
царевне
целомудренной
он груди целовал...

И дьяки присные,
как крысы по углам,
в ладони прыснули:
– Не храм, а срам!..

...А храм пылал вполнеба,
как лозунг к мятежам,
как пламя гнева —
крамольный храм!

От страха дьякон пятился,
в сундук купчишко прятался.

А немец, как козёл,
скакал, задрал камзол.
Уж как ты зол,
храм антихристовый!..

А мужик стоял да подсвистывал,
всё посвистывал, да поглядывал,
да топор
рукой всё поглаживал...

VI

Холод, хохот, конский топот да собачий звонкий
лай.
Мы, как дьяволы, работали, а сегодня – пей,
гуляй!
Гуляй!
Девкам юбки заголяй!

Эх, на синих, на глазурных да на огненных
саях...
Купола горят глазуньями на распахнутых
снегах.
Ах! —
Только губы на губах!

Мимо ярмарок, где яркие яйца, кружки, караси.
По соборной, по собольей, по оборванной
Руси —
эх, еси —
только ноги уноси!

Завтра новый день рабочий грянет в тысячу
ладов.
Ой, вы, плотнички, пилите тёс для новых
городов.

Го-ро-дов?
Может, лучше – для гробов?...

VII

Тюремные стены.
И нем рассвет.
А где поэма?

Поэмы нет.

Была в семь глав она —
как храм в семь глав.
А нынче безгласна —
как лик без глаз.

Она у плахи.
Стоит в ночи.

...
И руки о рубахи
отёрли палачи.

РЕКВИЕМ

Вам сваи не бить, не гулять по лугам.
Не быть, не быть, не быть городам!

Узорчатым башням в тумане не плыть.
Ни солнцу, ни пашням, ни соснам — не быть!

Ни белым, ни синим — не быть, не бывать.
И выйдет насильник губить-убивать.

И женщины будут в оврагах рожать,
и кони без всадников — мчаться и ржать.

Сквозь белый фундамент трава прорастёт.
И мрак, словно мамонт, на землю сойдёт.

Растерзанным бабам на площади выть.
Ни белым, ни синим, ни прочим — не быть!
Ни в снах, ни воочию — нигде, никогда...
Врёте,
сволочи,
будут города!

Над ширью вселенской
в лесах золотых
я,
Вознесенский,
воздвигну их!

Я — парень с Калужской,
я явно не промах.
В фуфайке колючей,
с хрустящим дипломом.

Я той же артели,
что семь мастеров.
Бушуйте в артериях,
двадцать веков!

Я тысячерукий —
руками вашими,
я тысячеокий —
очами вашими.

Я осуществляю в стекле
и металле,
о чём вы мечтали,
о чём — не мечтали...

Я со скамьи студенческой
мечтаю, чтобы зданья
ракетою
стоступенчатой
взвивались
в мирозданье!

И завтра ночью блядскою
в 0.45
я еду
Братскую
осуществлять!

...А вслед мне из ночи
окон и бойниц
установились очи
безглазых глазниц.

1959

ОСЕНЬ

С. Щипачёву

Утиных крыльев переплеск.
И на тропинках заповедных
последних паутинок блеск,
последних спиц велосипедных.

И ты примеру их последуй,
стучись проститься в дом последний.
В том доме женщина живёт
и мужа к ужину не ждёт.

Она откинет мне щеколду,
к тужурке припадёт щекою,
она, смеясь, протянет рот.
И вдруг, погаснув, всё поймёт —
поймёт осенний зов полей,
полёт семян, распад семей...

Озябшая и молодая,
она подумает о том,
что яблонька и та — с плодами,
бурёнушка и та — с телком.

Что бродит жизнь в дубовых дуплах,
в полях, в домах, в лесах продутых,
им — колоситься, токовать.
Ей — голосить и тосковать.

Как эти губы жарко шепчут:
«Зачем мне руки, груди, плечи?
К чему мне жить, и печь топить,
и на работу выходить?»

Её я за плечи возьму —
я сам не знаю что к чему...

А за окошком в юном инее
лежат поля из алюминия.
По ним — черны, по ним — седы,
до железнодорожной линии
протянутся мои следы.

1959

ТУМАННАЯ УЛИЦА

Туманный пригород как турман.
Как полавки — милиционеры.
Туман.
Который век? Которой эры?

Всё — по частям, подобно бреду.
Людей как будто развинтили...
Бреду.
Верней — барахтаюсь в ватине.

Носы. Подфарники. Околыши.
Они, как в фодисе, двоятся.

Калоши?
Как бы башкой не обменяться!

Так женщина – от губ едва,
двоясь и что-то воскрешая,
уж не любимая – вдова,
ещё твоя, уже – чужая...

О тумбы, о прохожих трусь я...
Венера? Продавец мороженого!..

Друзья?
Ох, эти яго доморощенные!

Я спотыкаюсь, бьюсь, живу,
туман, туман – не разберёшься,
о чью щеку в тумак трёшься?...
Ау!

Туман, туман – не дозовёшься...

1959

ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА

Мальчики с финками, девочки с фиксами.
Две контролёрши заснувшими сфинксами.

Я еду в этом тамбуре,
спасаясь от жары.
Кругом гудят, как в таборе,
гитары и воры.

И как-то получилось,
что я читал стихи
между теней плечистых,
окурков, шелухи.

У них свои ремёсла.
А я читаю им,
как девочка примёрзла
к окошкам ледяным.

На чёрта им девчонка
и рифм ассортимент?
Таким, как эта, – с чёлкой
и пудрой в сантиметр?!

Стоишь – черты спитые,
на блузке видит взгляд
всю дактилоскопию
малаховских ребят.

Чего ж ты плачешь бурно,
и, вся от слёз светла,
мне шепчешь нецензурно —
чистейшие слова?...

И вдруг из электрички,
ошеломив вагон,
ты, чище Беатриче,
сбегаешь на перрон!

1959

* * *

Мы писали историю
не пером – топором.
Сколько мы понастроили
деревень и хором.

Пахнут стружкой фасады,
срубы башни, шатры.
Сколько барских усадеб
взято в те топоры!

Сотрясай же основы!
Куй, пока горячо.
Мы последнего слова
не сказали ещё.

Взрогнут крыши и листья.
И поляжет весь свет
от трёхпалого свиста
межпланетных ракет.

1959

ТИШИНЫ ХОЧУ!

Шестидесятые

Между кошкой и собакой

Лиловые сумерки Парижа. Мой номер в гостинице.

Сумерки настаиваются, как чай. За круглым столом напротив меня сидит, уронив голову на локоть, могучий Твардовский. Он любил приходить к нам, молодым поэтам, тогда, потому что руководитель делегации Сурков прятал от него бутылки и отнимал, если находил. А может, и потому, что и ему приятно было поговорить с независимыми поэтами. Пиетет наш к нему был бескорыстен – мы никогда не носили стихи в журнал, где он редакторствовал, не обивали пороги его кабинета.

В отдалении, у стены, на тёмно-зелёной тахте полувозлежит медноволосая юная женщина, надежда русской поэзии. Её оранжевая чёлка спадала на глаза подобно прядкам пуделя.

Угасающий луч света озаряет белую тарелку на столе с останками апельсина. Женщина приоткрывает левый глаз и, напряжённо щупая почву, начинает: «Александр Трифонович, подайте-ка мне апельсин. – И уже смело: Закусить».

Трифонович протрезвел от такой наглости. Он вытаращил глаза, очумело огляделся, потом, что-то сообразив, усмехнулся. Он встал; его грузная фигура обрела грацию; он взял тарелку с апельсином, на левую руку по-лакейски повесил полотенце и изящно подошёл к тахте.

«Многоуважаемая сударыня, – он назвал женщину по имени и отчеству. – Вы должны быть счастливы, что первый поэт России преподносит Вам апельсин. Закусить».

Вы попались, Александр Трифонович! Едва тарелка коснулась тахты, второй карий глаз лукаво приоткрылся: «Это Вы должны быть счастливы, Александр Трифонович, что Вы преподнесли апельсин первому поэту России. Закусить».

И тут я, давась от смеха, подаю голос: «А первый поэт России спокойно смотрит на эту пикировку».

Поэт – всегда или первый, или никакой.

БЬЮТ ЖЕНЩИНУ

Бьют женщину. Блестит белок.
В машине темень и жара.
И бьются ноги в потолок,
как белые прожектора!

Бьют женщину. Так бьют рабынь.
Она в заплаканной красе
срывает ручку, как рубильник,
выбрасываясь на шоссе!

И взвизгивали тормоза.
К ней подбегали, тормоша.

И волочили, и лупили
лицом по лугу и крапиве...

Подонки, как он бил подробно,
стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг!
Вонзался в дышащие рёбра
ботинок узкий, как утюг.

О, упоенье оккупанта,
изыски деревенщины...
У поворота на Купавну
бьют женщину.

Бьют женщину. Веками бьют,
бьют юность, бьёт торжественно
набата свадебного гуд,
бьют женщину.

А от жаровен сквозь уют
горящие затрешины?
Не любят – бьют, и любят – бьют,
бьют женщину.

Но чист её высокий свет,
отважный и божественный.
Религий – нет, знамений – нет.
Есть Женщина!..

...Она, как озеро, лежала,
стояли очи, как вода,
и не ему принадлежала,
как просека или звезда,

и звёзды по небу стучали,
как дождь о чёрное стекло,
и, скатываясь, остужали
её горячее чело.

1960

ГИТАРА

Б. Окуджаве

К нам забредал Булат
под небо наших хижин
костлявый как бурлак
он молод был и хищен

и огненной настурцией
робея и наглея
гитара как натурщица
лежала на коленях

она была смирней
чем в таинстве дикарь
и тёмный город в ней
гудел и затихал

а то как в рёве цирка
вся не в своём уме —
горящим мотоциклом
носилась по стене!

мы — дети тех гитар
отважных и дрожащих
между подруг дражайших
неверных как янтарь

среди ночных фигур
ты губы морщишь едко
к ним как бикфордов шнур
крадётся сигаретка

1960

* * *

По мотивам Расула Гамзатова

Если б были чемпионаты,
кто в веках по убийствам первый, —
ты бы выиграл, Век Двадцатый.
Усмехается Век Двадцать Первый.

Если б были чемпионаты,
кто по лжи и подлостям первый,
ты бы выиграл, Век Двадцатый.
Усмехается Век Двадцать Первый.

Если б были чемпионаты,
кто по подвигам первый, —
нет нам равных, мой Век Двадцатый!..
Безмолвствует Двадцать Первый.

1960

БАЛЛАДА 41-го ГОДА

Партизанам Керченской каменоломни

Рояль вползал в каменоломню.
Его тащили на дрова
к замёрзшим чанам и половням.
Он ждал удара топора!

Он был без ножек, чёрный ящик,
лежал на брюхе и гудел.

Он тяжело дышал, как ящер,
в пещерном логове людей.
А пальцы вспухшие алели.
На левой – два, на правой – пять...
Он
опускался
на колени,
чтобы до клавишей достать.

Семь пальцев бывшего завклуба!
И, обмороженно-суха,
с них, как с разваренного клубня,
дымясь, сползала шелуха.

Металась пламенем сполошным
их красота, их божество...
И было величайшей ложью
всё, что игралось до него!

Все отраженья люстр, колонны...
Во мне ревёт рояля сталь.
И я лежу в каменоломне.
И я огромен, как рояль.

Я отражаю штолен сажу.
Фигуры. Голод. Блеск костра.
И, как коронного пассажи,
я жду удара топора!

1960

КРОНЫ И КОРНИ

Несли не хоронить,
несли короновать.

Седее, чем гранит,
как бронза – красноват,
дымясь локомотивом,
художник жил,
лохмат,
ему лопаты были
божественней лампад!

его сирень томилась...
Как звездопад,
в поту,
его спина дымилась
буханкой на поду!..

Зияет дом его.
Пустые этажи.
На даче никого.
В России – ни души.

Художники уходят
Без шапок,
будто в храм,
в гудящие уголья,
к берёзам и дубам.

Побеги их – победы.
Уход их – как восход
к полянам и планетам
от ложных позолот.

Леса роняют кроны.
Но мощно над землёй
ворочаются корни
корявой пятернёй.

1960

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ОЧЕЙ

Третий месяц её хохот нарочит,
третий месяц по ночам она кричит.
А над нею, как сиянье, голося,
вечерами
разражаются
глаза!
Пол-лица ошеломлённое стекло
вертикальными озёрами зажгло.

...Ты худеешь. Ты не ходишь на завод,
ты их слушаешь, как лунный садовод,
жизнь и боль твоя, как влага к облакам,
поднимается к наполненным зрачкам.

Говоришь: «Невыносима синева!
И разламывает голова!
Кто-то хищный и торжественно-чужой
свет зажёл и поселился на постой...»

Ты грустишь – хохочут очи, как маньяк.
Говоришь – они к аварии манят.
Вместо слёз —
иллюминированный взгляд.
«Симулирует», – соседи говорят.

Ходят люди, как глухие этажи.
Над одной горят глаза, как витражи.

Сотни женщин их носили до тебя,
сколько муки накопили для тебя!
Раз в столетие
касается
людей
это Противостояние Очей!..
...Возле моря отрешённо и отчаянно
бродит женщина, беременна очами.

Я под ними не бродил,
за них жизнью заплатил.

1961

МОНОЛОГ БИТНИКА

Лежу бухой и эпохальный.
Постигаю Мичиган.
Как в губке, время набухает
в моих веснушчатых щеках.

В лице, лохматом, как берлога,
лежат озябшие зрачки.
Перебираю, как брелоки,
прохожих, огоньки.

Ракетодромами гремя,
дождями атомными рея,

Плевало время на меня,
плюю на время!

Политика? К чему валандаться!
Цивилизация душна.
Вхожу, как в воду с аквалангом,
в тебя, зелёная душа.

Мы – битники. Среди хулы
мы – как зверёныши, волчата.
Скандалы, точно кандалы,
за нами с лязгом волочатся.

Когда магнитофоны ржут,
с опухшим носом скомороха,
вы думали – я шут?
Я – суд!
Я – Страшный суд. Молись, эпоха!

1961

НОЧНОЙ АЭРОПОРТ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Автопортрет мой, реторта неона, апостол
небесных ворот —
аэропорт!

Брезжат дюралевые витражи,
точно рентгеновский снимок души.
Как это страшно, когда в тебе небо стоит
в тлеющих трассах необыкновенных столиц!

Каждые сутки
тебя наполняют, как шлюз,
звёздные судьбы
грузчиков, шлюх.

В баре, как ангелы, гаснут твои алкоголики,
ты им глаголешь!

Ты их, прибитых,
возвышаешь!
Ты им «Прибыть»
возвещаешь!

* * *

Ждут кавалеров, судеб, чемоданов, чудес...
Пять «Каравелл»
ослепительно
сядут с небес!
Пять полуночниц шасси выпускают устало.
Где же шестая?

Видно, допрыгалась —
блядь, аистёнок, звезда!..
Электроплитками
пляшут под ней города.

Где она реет,
стонет, дурит?
И сигареткой
в тумане горит?

Она прогноз не понимает.
Её земля не принимает.

* * *

Худы прогнозы. И ты в ожидании бури,
как в партизаны, уходишь в свои вестибюли.

Мощное око взирает в иные мира.
Мойщики окон
слезят тебя, как мошкара,
Звёздный десантник, хрустальное чудище,
сладко, досадно быть сыном будущего,
где нет дураков
и вокзалов-торгов —
одни поэты и аэропорты!
Стонет в аквариумном стекле
небо,
приваренное к земле.

* * *

Аэропорт — озона и солнца

аккредитованное посольство!

Сто поколений
не смели такого коснуться —
преодоления
несущих конструкций.
Вместо каменных истуканов
стынет стакан синевы —
без стакана.
Рядом с кассами-теремами
он, точно газ,
антиматериален!
Бруклин – дурак, твердокаменный чёрт.

Памятник эры —
Аэропорт.

1961

ВСТУПЛЕНИЕ

Открывайся, Америка!
Эврика!

Короную Емельку,
открываю, сопя,
в Америке – Америку,
в себе —
себя.

Рву кожуру с планеты,
сметаю пыль и тлен,
спускаюсь
в глубь
предмета,
как в метрополитен.

Там груши – треугольные,
ищу в них души голые.
Я плод трапециевидный
беру, не чтоб глотать —
чтоб стёкла-сердцевинки
сияли, как алтарь!

Исследуйте, орудуйте,
не дуйте в ус,
пусть врут, что изумрудный, —
он красный, ваш арбуз!

Дарвины, Рошали
ошибались начисто.
Скромность украшает?
К чёрту украшательство!

Вгрызаюсь, как легава,
врубаюсь, как колун...
Художник хулиганит?
Балуй,
Колумб!

По наитию
дую к берегу...
Ищешь
Индию —
найдёшь
Америку!

1961

ВТОРОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

Обожаю
твой пожар этажей, устремлённых
к окрестностям рая!
Я – борзая,
узнавшая гон наконец, я – борзая!
Я тебя догоню и породу твою распознаю.
По базарному дну
ты, как битница, дуешь, босая!

Под брандспойтом шоссе мои уши кружились,
как мельницы,
по безбожной, бейсбольной,
по бензоопасной Америке!

Кока-кола. Колокола.
Вот нелёгкая занесла!

Ты, чертовски дразня, сквозь чертоги вела и задворки,
и на женщин глаза
отлетали, как будто затворы!

Мне на шею с витрин твои вещи дешёвками вешались.
Но я душу искал,
я турил их, забывши про вежливость.

Я спускался в Бродвей, как идут под водой с аквалангом.
Синей лампой в подвале
плясала твоя негритянка!

Я был рядом почти, но ты зябко ушла от погони.
Ты прочти и прости,
если что в суматохе не понял...

Я на крыше, как гном,
над нью-йоркской стою планировкой.
На мизинце моём
твоё солнце – как божья коровка.

1961

МОТОГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНЕ

Н. Андросовой

Заворачивая, манежа,
свищет женщина по манежу!
Краги —
красные, как клешни.
Губы крашенные – грешны.
Мчит торпедой горизонтальною,
хризантему заткнув за талию!

Ангел атомный, амазонка!
Щёки вдавлены, как воронка.
Мотоцикл над головой
электрической пилой.

Надоело жить вертикально.
Ах, дикарочка, дочь Икара...
Обыватели и весталки
вертикальны, как ваньки-встаньки.

В этой, взвившейся над зонтами,
меж оваций, афиш, обид,
сущность женщины
горизонтальная
мне мерещится и летит!

Ах, как кружит её орбита!
Ах, как слёзы к белкам прибиты!
И тиранит её Чингисхан —
замдиректора Сингичанц...

Сингичанц:

«Ну, а с ней не мука?
Тоже трюк – по стене, как муха...
А вчера камеру проколола... Интриги...
Пойду, напишу по инстанции...
И царапается, как конокрадка».
Я к ней вламываюсь в антракте.
«Научи, – говорю, – горизонту...»

А она молчит, амазонка.
А она головой качает.
А её ещё трек качает.
А глаза полны такой —
горизонтальной
тоской!..

1961

ОСЕНЬ В СИГУЛДЕ

Свисаю с вагонной площадки,
прощайте,

прощай моё лето,
пора мне,
на даче стучат топорами,
мой дом забивают дощатый,
прощайте,

леса мои сбросили кроны,
пусты они и грустны,
как ящик с аккордеона,
а музыку – унесли,

мы – люди,
мы тоже порожни,
уходим мы,
так уж положено,

из стен,
матерей
и из женщин,
и этот порядок извечен,

прощай, моя мама,
у окон
ты станешь прозрачно, как кокон,
наверно, умаялась за день,
присядем,

друзья и враги, бывайте,
good bye,
из меня сейчас
со свистом вы выбегаете,
и я ухожу из вас,

о родина, прощаемся,
буду звезда, ветла,
не плачу, не попрошайка,
спасибо, жизнь, что была,

на стрельбищах
в 10 баллов
я пробовал выбить 100,
спасибо, что ошибался,
но трижды спасибо, что

в прозрачные мои лопатки
вошла гениальность, как
в резиновую перчатку
красный мужской кулак,

«Андрей Вознесенский» – будет,
побыть бы не словом, не бульдиком,
ещё на щеке твоей душной —
«Андрюшкой»,

спасибо, что в рощах осенних
ты встретила, что-то спросила
и пса волокла за ошейник,
а он упирался,
спасибо,

я ожил, спасибо за осень,
что ты мне меня объяснила,
хозяйка будила нас в восемь,
а в праздники сипло басыла
пластинка блатного пошиба,
спасибо,

но вот ты уходишь, уходишь,
как поезд отходит, уходишь...
из пор моих полых уходишь,
мы врозь друг из друга уходим,
чем нам этот дом неугоден?

ты рядом и где-то далёко,
почти что у Владивостока,

я знаю, что мы повторимся
в друзья и подругах, в травинках,
нас этот заменит и тот —
«природа боится пустот»,

спасибо за сдутые кроны,
на смену придут миллионы,
за ваши законы – спасибо,

но женщина мчится по склонам,
как огненный лист за вагоном...

Спасите!

1961

СТРИПТИЗ

В ревю
танцовщица раздевается, дура...
Реву?...
Или режут мне глаза прожектора?

Шарф срывает, шаль срывает, мишуру,
как сдирают с апельсина кожуру.

А в глазах тоска такая, как у птиц.
Этот танец называется «стриптиз».
Страшен танец. В баре лысины и свист,
как пиявки, глазки пьяниц налились.
Этот рыжий, как обляпанный желтком,
пневматическим исходит молотком!

Тот, как клоп, —
апоплексичен и страшон.
Апокалипсисом воет саксофон!

Проклинаю твой, Вселенная, масштаб!
Марсианское сиянье на мостах,
проклинаю,
обожая и дивясь.
Проливная пляшет женщина под джаз!..

«Вы Америка?» – спрошу как идиот.
Она сядет, сигаретку разомнёт.

«Мальчик, – скажет, – ах, какой у вас акцент!

Закажите-ка мартини и абсент».

1961

НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ПТИЦА

На окно ко мне садится
в лунных вензелях
алюминиевая птица —
вместо тела
фюзеляж

и над её шеей гайковой
как пламени язык
над гигантской зажигалкой
полыхает
женский
лик!

(в простынь капиталистическую
завернувшись, спит мой друг.)

кто ты? бред кибернетический?
полуробот? полудух?
помесь королевы блюза
и летающего блюда?

может ты душа Америки
уставшей от забав?
кто ты юная химера
с сигареткою в зубах?

но взирают не мигая
не отёрши крем ночной
очи как на Мичигане
у одной

у неё такие газовые
под глазами синячки
птица что предсказываешь?
птица не солги!

что ты знаешь, сообщаешь?
что-то странное извне
как в сосуде сообщающемся
подымается во мне

век атомный стонет в спальне...

(Я ору. И, матерясь,
мой напарник
как ошпаренный
садится на матрас.)

1961

СИРЕНЬ «МОСКВА – ВАРШАВА»

Р. Гамзатову

11. III.61

Сирень прощается, сирень – как лыжница,
сирень, как пудель, мне в щёки лижется!
Сирень зарёвана,
сирень – царевна,
сирень пылает ацетиленом!

Расул Гамзатов хмур, как бизон.
Расул Гамзатов сказал: «Свезём».

12. III.61

Расул упарился. Расул не спит.
В купе купальщицей сирень дрожит.
О, как ей боязно! Под низом
колёса поезда – не чернозём.
Наверно, в мае цвести «красивей»...
Двойник мой, магия, сирень, сирень,
сирень как гений! Из всех одна
на третьей скорости цветёт она!

Есть сто косулей —
одна газель.
Есть сто свистулек – одна свирель.
Несовременно цвести в саду.
Есть сто сиреней.
Люблю одну.

Ночные грозди гудят махрово,
как микрофоны из мельхиора.

У, дьявол-дерево! У всех мигрень.
Как сто салютов, стоит сирень.

13. III.61

Таможник вздрогнул: «Живьём? В кустах?!»

Таможник, ахнув, забыл устав.

Ах, чувство чуда – седьмое чувство...
Вокруг планеты зелёной люстрой,
промеж созвездий и деревень
свистит
трассирующая
сирень!
Смешны ей – почва, трава, права...

P. S.

Читаю почту: «Сирень мертва».

P. P. S.

Чёрта с два!

1961

* * *

Конфедераток тузы бесшабашные
кривы.
Звёзды вонзались, точно собашник
в гривы!

Польша – шампанское, танки палящая
Польша!
Ах, как банально – «Андрей и полячка»,
пошло...

Как я люблю её еле смежённые веки,
жарко и снежно, как сны? – на мгновенье, навеки...

Во поле русском, аэродромном,
во поле-полюшке
вскинула рученьки к крыльям огромным —
Польша!
Сон? Богоматерь?...

Буфетчицы прыщут, зардев, —
весь я в помаде,
как будто абстрактный шедевр.

1961

ЛОБНАЯ БАЛЛАДА

Их Величеством поразвlechься
прёт народ от Коломн и Клязьм.
«Их любовница – контрразведчица
англо-шведско-немецко-греческая...»
Казнь!

Царь страшон: точно кляча, тощий,
почерневший, как антрацит.
По лицу проносятся очи,
как буксующий мотоцикл.

И когда голова с топорика
подкатилась к носкам ботфорт,
он берёт её
над толпою,
точно репу с красной ботвой!

Пальцы в щёки впились, как клещи,
переносицею хрустя,
кровь из горла на брюки хлещет.
Он целует её в уста.

Только Красная площадь ахнет,
тихим стоном оглушена:
«А-а-анхен!...»
Отвечает ему она:

«Мальчик мой Государь великий
не судить мне твоей вины
но зачем твои руки липкие
солоны?

баба я
вот и вся провинность государства мои в устах
я дрожу брусничной кровиночкой
на державных твоих усах

в дни строительства и пожара
до малюсенькой до любви?

ты целуешь меня Держава
твои губы в моей крови

перегаром борщом горохом
пахнет щедрый твой поцелуй

как ты любишь меня Эпоха
обожаю тебя
царуй!...»

Царь застыл – смурной, малохольный,
царь взглянул с такой меланхолией,
что присел заграничный гость,
будто вбитый по шляпку гвоздь.

1961

ПОЮТ НЕГРЫ

Мы —
тамтамы гомеричные с глазами горемычными,
клубимся, как дымы, —
мы...

Вы —
белы, как холодильники, как марля карантинная,
безжизненно мертвы —
вы...

О чём мы поём вам, уважаемые джентльмены?

О
руках ваших из воска, как белая извёстка,
о, как они впечатались между плечей печальных, о,
о, наших жён печальных,
как их позорно жгло – о-о!

«Н-но!»
Нас лупят, точно клячу, мы чаевые кланчим,
на рингах и на рынках у нас в глазах темно,
но,
когда ночами спим мы, мерцают наши спины,
как звёздное окно.

В нас,
боксёрах, гладиаторах, как в чёрных радиаторах
или в пруду карась,
созвездья отражаются торжественно и жалостно —
Медведица и Марс – в нас...

Мы – негры, мы – поэты,
в нас плещутся планеты.
Так и лежим, как мешки, полные звёздами и легендами...

Когда нас бьют ногами —
пинают небосвод.
У вас под сапогами

Вселенная орёт!

1961

РОК-Н-РОЛЛ

Андрею Тарковскому
ПАРТИЯ ТРУБЫ

Рок —
н —
ролл —
об стену сандалиии!
Ром
в рот – лица как неон.
Ревёт
музыка скандальная,
труба
пляшет, как питон!
В тупик
врежутся машины.
Двух
всмятку —
«Хау ду ю ду?»

Туз пик – негритос в манишке,
дуй,
дуй
в страшную трубу!
В ту
трубу
мчатся, как в воронку,
лица,
рубища, вопли какаду,
две мадонны
а-ля подонок —
в мясорубочную трубу!

Негр
рыж —
как затмение солнца.
Он жуток,
сумасшедший шут.
Над миром,
точно рыба с зонтиком,
пляшет
с бомбою парашют!

Рок-н-ролл. Факелы бород.

Шарики за ролики! Всё – наоборот.
Рок-н-ролл – в юбочках юнцы,
а у женщин пробкой выжжены усы.

(Время, остановись! Ты отвратительно...)
Рок-н-ролл.
Об стену часы!

«Я носила часики – вдребезги, хреновые!
Босиком по стёклышкам – ой, лады...»
Рок-н-ролл по белому линолеуму...

(Гы!.. Вы обрежетеь временем, мисс!
Осторожнее!..)
...по белому линолеуму
кровь, кровь —
червонные следы!

ХОР МАЛЬЧИКОВ

Мешайте красные коктейли!
Даёшь ерша!
Под бельём дымится, как котельная,
доисторическая душа!

Мы – продукты атомных распадов.
За отцов продувшихся —
расплата.
Вместо телевизоров нам – каминь.
В рёве мотороллеров и коров
наши вакханалии страшны, как поминки...
Рок, рок —
танец роковой!

ВСЕ

Над страной хрустальной и красивой,
выкаблучиваясь, как каннибал,
миссисипийский
мессия
Мистер Рок правит карнавал.

Шерсть скрипит в манжете целлулоидовой.
Мистер Рок – бледен, как юродивый,
Мистер Рок – министр, пророк, маньяк;
по проходим
пляшут небоскрёбы —
башмаками по муравьям.

СКРИПКА

И к нему от тундры до Атлантики,
вся неоновая от слёз,
наша юность...

(«О, только не её, Рок, Рок, ей нет
ещё семнадцати!...»)
Наша юность тянется лунатиком...
Рок! Рок!
SOS! SOS!

1961

* * *

Я сослан в себя
я – Михайловское
горят мои сосны смыкаются

в лице моём мутном как зеркало
смеркаются лоси и перголы

природа в реке и во мне
и где-то ещё – извне

три красные солнца горят
три рожи как стёкла дрожат

три женщины брезжут в одной
как матрёшки – одна в другой

одна меня любит смеётся
другая в ней птицей бьётся

а третья – та в уголок
забилась как уголёк

она меня не простит
она ещё отомстит

мне светит её лицо
как со дна колодца —
кольцо

1961

ПРОЩАНИЕ С ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ

Большой аудитории посвящаю

В Политехнический!
В Политехнический!
По снегу фары шипят яичницей.
Милиционеры свистят панически.
Кому там хнычется?!
В Политехнический!

Ура, студенческая шарага!
А ну, шарахни
по совмещанам свои затрешины!
Как нам мещане мешали встретиться!

Ура вам, дура
в сергах-будильниках!
Ваш рот, как дуло,
разинут бдительно.
Ваш стул трещит от перегрева.
Умойтесь! Туалет – налево.

Ура, галёрка! Как шашлыки,
дымятся джемперы, пиджаки.
Тысячерукий, как бог языческий,
Твое Величество —
Политехнический!

Ура, эстрада! Но гасят бра.
И что-то траурно звучит «ура».

Двенадцать скоро. Пора уматывать.
Как ваши лица струятся матово!
В них проступают, как сквозь экраны,
все ваши радости, досады, раны.

Вы, третья с краю,
с копной на лбу,
я вас не знаю.
Я вас – люблю!

Чему смеётесь? Над чем всплакнете?
И что черкнёте, косясь, в блокнотик?

Что с вами, синий свитерок?
В глазах тревожный ветерок...

Придут другие – ещё лиричнее,
но это будут не вы —
другие.
Мои ботинки черны, как гири.
Мы расстаёмся, Политехнический!

Нам жить недолго. Суть не в овациях,
мы растворяемся в людских количествах
в твоих просторах,
Политехнический.
Невыносимо нам расставаться.

Ты на кого-то меня сменяешь,
но, понимаешь,
пообещай мне, не будь чудовищем,
забудь со стоящим!

Ты ворожи ему, храни разиню.
Политехнический —
моя Россия! —
ты очень бережен и добр, как Бог,
лишь Маяковского не уберёг...

Поэты падают,
дают финты
меж сплетен, патоки
и суеты,

но где б я ни был – в земле, на Ганге, —
ко мне прислушивается магически
гудящей раковиною гиганта
большое ухо
Политехнического!

1962

ФУТБОЛЬНОЕ

Левый крайний!

Самый тощий в душевой,
самый страшный на штрафной,
бито стёкол – боже мой!
И гераней...
Нынче пулей меж тузов
блещет попкой из трусов
левый крайний.

Левый шпарит, левый лупит.
Стадион нагнулся лупой,
прожигательным стеклом
над дымящимся мячом.

Правый край спешит заслоном,
он сипит, как сто сифонов,
ста медалями увенчан,
стольким ноги поувечил.

Левый крайний, милый мой,
ты играешь головой!

О, атака до угара!
Одурение удара.
Только мяч,
мяч,
мяч,
только – вмажь,
вмажь,
вмажь!

«Наши – ваши» – к богу в рай.
Ай!
Что наделал левый край!..

Мяч лежит в своих воротах.
Солнце чёрной сковородкой.
Ты уходишь, как горбун,
под молчание трибун.

Левый крайний...

Не сбываются мечты,
с ног срезаются мячи.
И под краном
ты повинный чубчик мочишь,
ты горюешь
и бормочешь:
«А ударчик – самый сок,
прямо в верхний уголок!»

1962

РУБЛЁВСКОЕ ШОССЕ

Мимо санатория
реют мотороллеры.

За рулём влюблённые —
как ангелы рублёвские.

Фреской Благовещенья,
резкой белизной,
за ними блещут женщины,
как крылья за спиной!

Их одежда плещет,
рвётся от руля,
вонзайтесь в мои плечи,
белые крыла.

Улечу ли?
Кану ль?
Соколом ли?
Камнем?

Осень. Небеса.
Красные леса.

1962

* * *

Ж.-П. Сартру

Я – семья

во мне как в спектре живут семь «я»
невыносимых как семь зверей
а самый синий
свистит в свирель!

а весной
мне снится
что я – восьмой!

1962

ФЛОРЕНТИЙСКИЕ ФАКЕЛЫ

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.